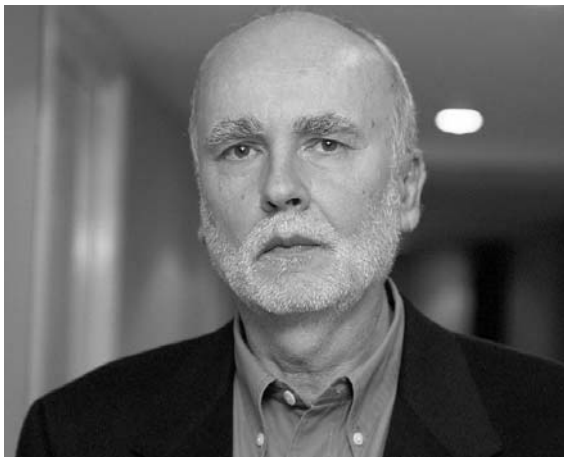


АДАМ ЗАГАЕВСКИЙ

[136]

ил 1/2019



Стихи

Перевод с польского и вступление Ксении Дьяконовой

Адам Загаевский, один из самых ярких польских поэтов нашего времени, автор двенадцати поэтических сборников и девяти книг эссе, родился в 1945 году во Львове. В том же году его семья переехала в город Гливице, в Силезии, где поэт провёл детство и отрочество, вплоть до поступления в Ягеллонский университет в Кракове: там он изучал психологию и философию. Печататься начал в 1967 году. Участвовал в поэтическом движении "Новая волна", отстаивавшем свободу польского языка и литературы от коммунистической идеологии. В 1975-м подписал "Мемориал 59", открытое письмо польских интеллектуалов против изменений, введённых коммунистической партией в конституцию Польши. После этого польские власти отказали Загаевскому в праве печататься. В 1982 году поэт эмигрировал в Париж, а в 2002-м вернулся в Краков, где живёт и сейчас. Преподавал в университетах Хьюстона и Чикаго, завоевал множество престижных премий, среди которых стоит отметить Орден Почётного Легиона (Франция, 2016) и Премию принцессы Астурийской (Испания, 2017), а также многократно выдвигался на Нобелевскую премию по литературе.

Стихам Адама Загаевского присуща особая лирическая интонация, как будто колеблющаяся между любовью к миру и недоумением перед жестокостью мировой истории, между страстным желанием проникнуть в суть вещей и ощущением, что это невозможно. Чарльз Симик, американский поэт сербского происхождения, заметил, что повседневные предметы пред-

стают в стихах Загаевского в своей первозданной красоте, очищенные от штампов. Загаевский описывает поезда, растения, улицы и картины так, будто он первый их увидел. Одна из постоянных тем его поэзии — жизнь человека, разрывающегося между Севером и Югом: с одной стороны, Львов, Гливице, Краков, связанные с детством и юностью, а с другой — пейзаж и архитектура Франции, Италии или Греции, где поэт путешествовал в зрелом возрасте и где оставил часть своего сердца. Чем-то это напоминает ту самую “тоску по мировой культуре”, о которой писал Мандельштам; впрочем, в случае Загаевского речь идёт скорее о тоске славянина, для которого Средиземноморье навсегда останется прекрасным соблазном. Еще одна из любимых тем поэта — искусство, особенно классическая музыка, обладающее уникальной способностью приносить человеку утешение. Не человечеству в целом, а именно индивидуальному человеку. Об этом и обо многом другом, избегая общих мест и не повышая голоса, говорит Адам Загаевский в своих стихах.

Пламя

Даруй нам долгое дыхание зимы,
и безмятежность музыки, и губы,
готовые к прощению, и каплю,
лишь каплю гордости, пока мы живы.
Даруй нам изумление и пламя,
высокое и ясное, Господь.

Та музыка, которую мы вместе...

Та музыка, которую мы вместе
с тобой когда-то слушали, была
не просто музыкой... и кровь бежала
по жилам, и была не просто кровь,
а нечто большее, и только счастье
в нас было просто счастьем, и за это
кому-то благодарен я и должен
сказать об этом именно сейчас:
пока еще не стало слишком тихо.

Мои любимые поэты

Из моих любимых поэтов — и постоянных
спутников — нет, никто не знал никого:
они жили в разное время и в разных странах,
в их жизни была и скука, и торжество,

окружали их люди добрые и дурные,
и они каждый день в году
проживали легко — без страха, без эйфории,
словно яблоко, зреющее в саду;

и, вдыхая зеленую силу сада,
поднимали голову к облакам,
где плыла бесчисленная армада
теней и света: казалось, там,

на небесном движущемся экране,
идет фильм о вечности... Им дана
была радость, было дано страданье,
но все исчезало со скоростью сна;

иногда они знали, как мир устроен,
и могли словами обжечь его,
а порой, не слыша ни гроз, ни воен,
они словно не ведали ничего,

и казались детьми, снующими на площадке
перед школой — в ту минуту, когда
начинается дождь, и первые капли сладки,
а дальше — только соленая вода.

Сандали

Я помню, что купил эти сандали
за двадцать евро, много лет назад,
когда на остров Тассос мы попали
с экскурсией: и вот они блестят

как новые! Ты видишь? Что за тайна
в них кроется? Они,
наверное, достались мне случайно —
а раньше, в незапамятные дни,

даны были отшельнику, святому,
вели его — и верил он не зря.
Ну а теперь, легко ли им к такому
приноровиться грешнику... как я?

Подземные поезда

Есть картины, изображающие страданье
и волнение оплывающей свечи.
Есть люди, которым послано испытанье —

как почтальон, заблудившийся в ночи;
есть музыка в джунглях ужаса и молчания,
слепые окна, темные улицы, палачи
и кто-то, кто плачет в зале ожидания.

А еще бывают подземные поезда,
одинокие дни, упреки, обманы,
разговоры о спорте — скучные, как всегда,
холодок жестокости, крики пьяных,

и внезапное откровение: в полный рост
перед нами встает каштан, шелестит прохлада,
и бесшумно проходит ошеломленный дрозд
сквозь Гераклитов огонь весеннего сада.

Венеция, ноябрь

Венеция, ноябрь, и дождь, как море,
бушующий; Сан-Джорджо; мрак в соборе,
где Пиранези сняты те же сны
зловещие, что и столетья
назад, но молодым они скучны:
иного страха, ужаса, бессмертья
хотят они, и трепета полны...

Полна теней и призрачного света,
вся мавританским кружевом одета
(но под дождем не разглядеть лица),
Венеция спускается с крыльца
истории — навстречу зимней ночи:
так врач идет — суров, сосредоточен —
к воротам королевского дворца.

Чужая красота

Покой, смывающий тоску и страх,
мы сможем обрести в чужих стихах
и в музыке, в ее ночной стихии.
В других, а не в себе, мы чуем путь
к спасенью: в то, что ад — это другие,
не верится. Достаточно взглянуть
на ближнего с утра: он ближе к раю
забвения, и свежесть после сна —
как тень бессмертия — ему дана.
Ему, тебе... как лучше? Я не знаю.
Пусть в слове "он" мне слышится укор,

измена некоему ”ты“... и всё же,
в чужих стихах — бессрочный разговор,
как обещанье верности, заложен.

[140]

ил 1/2019

Тот день

Тот день, когда приходит известие, что умер кто-то
близкий,
друг или кто-то, кого мы не знали, только
восхищались им издалека,
первые минуты, первые часы: его или ее уже нет,
это кажется верным, неизбежным, даже доказанным,
мы неохотно верим человеку,
оповестившему нас по телефону, отчаянно, или
диктору
радио, но мы не можем в это поверить,
мы ни за что на свете не можем это принять,
он еще не умер, не умер до конца,
его уже нет, но он еще не исчез навеки,
напротив, кажется, что он находится
в самой сильной точке существования,
он все еще растет, хотя его уже нет, он все еще
говорит,
хотя он уже бессловесен, он все еще торжествует,
хотя он уже проиграл в сражении —
с кем? со временем? с телом? —
но нет, это неправда, он победил, достиг полноты
жизни,
самой высшей полноты, она настолько огромна и
удивительна,
что ей нет места в жизни,
она колеблет хрупкий корабль жизни,
возвышается над живущими,
как если бы он был создан из другого материала,
из самой твердой бронзы; и в то же время мы
начинаем догадываться,
и мы боимся, догадываясь, мы знаем, что сразу после
этого приходит
бесшумный и беспомощный плач.

Rue Armand Silvestre

Арман Сильвестр, парнасец, когда-то известный,
а теперь забытый поэт, как сообщает
Википедия, и прозаик; улица, в честь него

названная — такая же, как и все
остальные артерии города: на деревьях
воробьи, как прежде, танцуют шимми и ламбет-уок.
А теперь еще здесь — магазин “Фанпри”, детский сад,
аптека,

[141]

ИЛ 1/2019

парикмахерская; румяный мясник, всегда
улыбающийся, как будто разделять туши —
это счастье; и школа, и два невзрачных
ресторана. На этой улице, слишком длинной
и кончающейся нелепо, как многие фильмы,

мы когда-то жили, и дом наш был
неуклюжим, огромным зданием: назывался
le tripode, треножник, как в Дельфах, но только
не было

ни оракула, ни пророчеств, ни волшебства
(кроме редких мгновений, оставшихся в глубине
нашей жизни), и мы не знали с тобой, что будет,
и мы жили то в темноте, то в надежде, так же
как и все на свете, как те, кто где угодно
— в Варшаве, в Дрездене — перед сном
снимают часы с запястья и по течению
ночи легко плывут
в Атлантику вечности.

Улица Юзефа зимой

Здесь заснежено все, и мрак,
и по мокрому снегу — шаг
пилигримов. Зачем, куда?
Есть ли там, впереди, звезда?
На минуту, не чуя ног,
остановятся. Где Восток?

Так садовник, забыв растения,
опираясь на черенок
лопаты, на полмгновения
замирает, как среди сна,
словно в поисках равновесия:
то ли вспыхнула вдруг война,
то ли вдруг расцвела гортензия.